

ложивший, что после даты «14 juillet 1826» написана фамилия московского приятеля Пушкина В. П. Зубкова (ср. рис. 14), который, будучи хорошо осведомлен о деле декабристов, мог знать дату захоронения пятерых казненных и сообщить ее поэту, а тот во время краткого пребывания в Михайловском в ноябре 1826 г. записал ее на заднем форзаце тетради вместе с фамилией своего источника.<sup>35</sup> При всей заманчивости этой гипотезы с точки зрения воссоздания если не до конца убедительного, то вполне правдоподобного контекста, буква «b» под пятном не прочитывается. То, что А. В. Дубровский принял за ее верхнюю петлю, выглядывающую из-под пятна,<sup>36</sup> есть, вероятно, не что иное, как ложное впечатление штриха, подобное тому, о котором шла речь выше. Если согласиться с предлагаемым объяснением этой детали фотографии, то основание «b» оказывается неестественно сдвинутым вверх по отношению к предшествующей букве.

На сегодняшний день среди известных нам знакомых Пушкина нет, кажется, никого другого чью фамилию или имя можно было бы поставить в связь с записью «14 juillet 1826 Zo... <?>», что не опровергает доказываемого палеографическим анализом чтения первой буквы как «Z», а диктует необходимость дальнейших поисков. Принесут ли они когда-нибудь успех или смысл записи навсегда для нас потерян, предсказать невозможно.

<sup>35</sup> Дубровский А. В. и др. Творческие и биографические пометы в рукописях А. С. Пушкина. СПб., 1997. С. 56 - 58 (Неизданный Пушкин. Вып. 2).

<sup>36</sup> Там же. С. 56.

## КОНТРАПУНКТ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ А. С. ПУШКИНА

(«АКАФИСТ Е. Н. КАРАМЗИНОЙ»,  
«АРАП ПЕТРА ВЕЛИКОГО», «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»)

В том виде, как он сохранился до нашего времени, черновик «Арапа Петра Великого» начинается на л. 20 так называемой «Третьей масонской тетради» (ПД 836), где вверху написаны чернилами два слова («однѣми догадками»), которыми на этой стадии работы над романом кончался предпоследний абзац первой главы. В этом месте Пушкин отвлекся от только что им начатого прозаического, ему поэтому непривычного, произведения и, видимо уже в следующий присест, 31 июля 1827 года, сменив перо на карандаш, сочинил в черновике «Акафист Екатерине Николаевне Карамзиной», в котором для заявленной темы данной статьи имеет особый интерес одна строка. Сравнивая себя с пловцом, спасенным в бурю Провидением и несущим с благоговением дар Святой Владычице, поэт обращается к своей земной богине со словами:

Так посвящаю с умилением

— и далее упорно ищет стих:

- а. Тебе моих стихов венец —
- б. Тебе стихов моих венец —
- в. Тебе терновый мой венец —

Лишь с четвертой попытки формула была найдена:

Так посвящаю с умилением  
Тебе увядший мой венец —

(ПД 836, л. 20;  
Акад. III, 597 — 598)<sup>1</sup>

Вопрос о том, какие смысловые оттенки несли отвергнутые Пушкиным варианты и чем эти нюансы его не устраивали, не имеет прямого отношения к рассматриваемой теме; но выбор эпитета «увядший» заслуживает в связи с нею внимательного анализа и комментария.

Несколькими днями позже, в очередную паузу, наступившую после того, как на л. 22 об. была начата третья глава «Арапа Петра Великого», Пушкин вернулся к уже написанной шестой главе «Евгения Онегина» и на л. 23 сочинил для нее три новые строфы (XLIII — XLV), поставив в конце дату «10 авг. <уста>».<sup>2</sup> Их лейтмотив — прощание автора с молодостью (Пушкину было в это время 28 лет) и боязливое предчувствие того, что его поэтический дар начинает угасать.

Лета к суровой прозе клонят  
Лета шалунью рифму гонят;  
И я — со вздохом признаюсь  
Не столь усердно волочусь  
<.....>  
Перу [уж прежней] нет охоты  
Марать летучие листы  
<.....>  
Где вы, мечты! Где [ваша сладость]  
И вечная ей рифма младость...

<sup>1</sup> В окончательном тексте:

Так посвящаю с умилением  
Простой, увядший мой венец  
Тебе...

(Акад. III, 64)

<sup>2</sup> О датировке этих строф 1827 годом см.: *Иезутова Р. В.* Рабочая тетрадь Пушкина ПД, № 836: (История заполнения) // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1991. Т. 14. С. 123, 127, 144.

Уж<ель> и вправду [наконец]  
Увял, увял ее венец...  
Ужель увы на самом деле  
Без элегических затей  
Весна моих умчалась дней —  
О чем шутя я пел доселе —  
Ужели ей возврата нет  
Ужель мне скоро 30 лет —

(ПД 836, л. 23;  
Акад. VI, 408—409;  
курсив мой. — В.Р.)

Таким образом, «увядший венец» символизировал уходящую молодость и угасающий с нею поэтический жар, на смену которому приходит влечение к «суровой прозе». Не подлежит сомнению, что и в «Акафисте» этот образ вмещал в себя тот же комплекс мыслей, переживаний и настроений, в котором подлинное, искренне тревожное ощущение расставания с поэзией сочеталось с неверием в реальность осуществления этих недобрых предчувствий и активным их отторжением.

Действительно, с одной стороны, в поэтических декларациях Пушкина и ранее устойчиво звучал мотив невозможности быть в одно и то же время и поэтом, и прозаиком, так как эти две области литературного творчества предполагали, по его мнению, каждая особый духовный облик писателя и жизненный уклад. В 1822 году Пушкин досадовал и недоумевал,

Как мог унизиться до прозы  
Венчанный Музою поэт...

(Акад. II, 274)

«Прозою» в этом случае была книга Д. В. Давыдова «Опыт теории партизанского действия» (М., 1821; 1822), и то, что к ней обратился лихой гусар-весельчак и беззаботный, жизнерадостный стихотворец, воспринималось Пушкиным как верный симптом его перерождения:

Я думал: ветренный певец,  
Не сотвори себе кумира,

Перебесилась наконец  
Твоя проказливая лира,  
И, сердцем охладев навек,  
Ты, видно, стал в угоду мира  
Благоразумный человек!

(Акад. II, 274)

Через год, в письме П. А. Вяземскому от 19 августа 1823 года, Пушкин, как *поэт*, декларировал свое непреодолимое отвращение к прозе и полную неспособность до нее снизить: «Гнедич хочет купить у меня второе издание Русл.<ана> и К.<авказского> Пле.<нника> <...> Я обещал ему предисловие, но от прозы меня тошнит. Перепишись с ним — возьми на себя это второе издание и освяти его своею прозой, единственною в нашем прозаическом отечестве» (Акад. XIII, 66). Пройдет еще год — и в XIII строфе третьей главы (1824) «Евгения Онегина» Пушкин уже не исключит и для себя где-то в будущем, представлявшемся, вероятно, далеким, обращения к прозе, но предвидя при этом расставание с поэзией:

Быть может, волею небес  
Я перестану быть поэтом,  
В меня вселится новый бес,  
И, Фебовы презрев угрозы,  
Унижусь до смиренной прозы;  
Тогда роман на старый лад  
Займет веселый мой закат.

(Акад. VI, 56–57)

Словами «перестану быть поэтом» и «закат» здесь уже было сказано все, что позднее вберет в себя символ «увядшего венца».

Третья глава увидела свет 10–11 октября 1827 года,<sup>3</sup> а двумя с половиною месяцами ранее наступил тот момент, когда наконец Пушкин «унизился» до прозы. Мог ли он в это время

<sup>3</sup> Снявский Н., Цявловский М. Пушкин в печати, 1814—1837. 2-е изд., испр. М., 1938. С. 45. № 307.

не следить пристально и ревниво, не появляются ли у него начальные симптомы тех перемен, которые усмотрел он пять лет назад у Дениса Давыдова? Психологически, вероятно, должен был бы, находясь почти в одинаковой ситуации с автором книги о партизанской войне (то обстоятельство, что он принялся за роман, а Давыдов написал пособие по военному делу, не имело сколь-либо существенного значения, так как различие между прозой художественной и другими ее разновидностями еще отчетливо не осознавалось<sup>4</sup>). Тем не менее никаких свидетельств того, что у Пушкина реально возникали в 1827 году, пусть даже мимолетно, опасения собственной творческой деградации, не имеется, хотя в письме к нему П. А. Плетнева от 22 сентября и проскальзывает отголосок каких-то его жалоб на творческую заминку, объясняющих задержку с подготовкою к печати уже написанных глав «Евгения Онегина»: «Ничто так легко не даст денег, как „Онегин“, выходящий по частям, но регулярно через два или три месяца, это уже доказано а posteriori. Он, по милости божией, весь написан. Только перебелить, да и пустить. А тут-то у тебя и хандра» (Акад. XIII, 344). Как бы ни сомневаться в искренности передаваемого символом «увядшего венца» мотива прощания Пушкина с поэзией в 1827 году, но вряд ли было бы справедливо полностью исключить, что где-то в тайниках его души нет-нет да и просыпалась немедленно загоняемая обратно глухая, неотчетливая тревога.

С другой стороны, «увядший венец» был атрибутом литературной маски, надевавшейся время от времени Пушкиным. В тот же день 31 июля 1827 года, когда был написан «Акафист», он сообщал А. А. Дельвигу: «Я в деревне и надеюсь много писать, в конце осени буду у Вас; вдохновенья еще нет, покамест принялся я за прозу» (Акад. XIII, 334; курсив мой. — В. Р.). Во второй половине августа (не позднее 30-го) он писал М. П. Погодину: «Я убежал в деревню, почуя рифмы» (Акад. XIII, 339; кур-

<sup>4</sup> Степанов Н. Л. Проза Пушкина. М., 1962. С. 26; Сидяков Л. С. Художественная проза А. С. Пушкина. Рига, 1973. С. 16; Дебрецени П. Блудная дочь: Анализ художественной прозы Пушкина. СПб., 1995. С. 29 (оригинальное издание на английском языке — 1983).

сив мой. — В. Р.). Подобные ожидания творческого всплеска, пусть и несколько задерживающегося, шли вразрез с поэтическими излияниями по поводу «увядшего венца», обнажая условный, маскарадный характер этого образа, подтверждаемый и дальнейшим его использованием Пушкиным.

На одной странице с «Акафистом» появляется написанный частично на полях, а частично поверх карандашных строк этого стихотворения один из первых набросков к седьмой главе «Евгения Онегина»:

Увядший иногда венок  
На ветвях сосен уста <релых>

(ПД 836, л. 20;  
Акад. VI, 417)

Затем внизу страницы под текстом «Акафиста», отталкиваясь от этих строк, которые зачеркиваются, вырастает следующий фрагмент (цитируется его первый слой):

[И свежий иногда венок  
Колеблет]  
< > ветерок  
Колеблет иногда венок  
На ветвях сосен устарелых  
И < > надпись говорит:

(ПД 836, л. 20;  
Акад. VI, 417)<sup>5</sup>

Это была заготовка к шестой строфе в ее первых вариантах. Переместившийся с чела здравствующего поэта на ветви

<sup>5</sup> По мнению Р. В. Иезуитовой (Указ. соч. С. 143), сначала был записан этот фрагмент (приводимый исследовательницей в ином чтении, которое не во всем представляется правильным), а затем «образ венка „на ветвях сосен устарелых” подсказал Пушкину один из ключевых образов записанного на свободной, центральной части этого листа „Акафиста”». Однако не объяснено, почему, написав одну строку (два слова) черновика «Арапа Петра Великого» наверху страницы, Пушкин оставил бы, как в этом случае получается, середину пустой и над наброском к «Евгению Онегину» стал работать внизу, а потом так рассчитал текст «Акафиста», что закончил его, дойдя точно до этой записи, но никак ее не задев.

сосен вокруг могилы его персонажа, литературного собрата по перу, «венец» становится атрибутом поминального обряда, простым венком, сплетенным из полевых цветов руками юных дев. Но и в этом трансформированном качестве образ, видимо, первоначально сохранял всю исходную символику. «Увядший веночек» подразумевал кончину не только физическую, но и творческую: поэзия умерла вместе с ее творцом, чей скорбный удел — забвение, которое постигнет не только человека, но и все им созданное. Последовавшая замена эпитета «увядший» на «свежий», а потом на «таинственный» (Акад. VI, 419) акцентировала поминальную функцию венка, но лишь как промежуточную на пути все к тому же полному забвению, которое в печатном тексте и в приближавшихся к нему слоях чернового передавалось уже отсутствием на ветвях сосен венка, на них колеблемого ранним утренним ветерком прежде, когда

...в поздние досуги  
Сюда ходили две подруги,  
И на могиле при луне  
Обнявшись, плакали...

(Акад. VI, 418, 419, 142)

Из сказанного явствует, что с первых же страниц черновик романа, в котором Пушкин впервые подступал к овладению объективной формой повествования,<sup>6</sup> находился в тесном окружении лирического стихотворения и фрагментов «Евгения Онегина», проникнутых субъективными раздумиями и переживаниями автора. Не просто вперемежку, в механическом соседстве с этими лирическими излияниями рождался черновой текст «Арапа Петра Великого», но между ними возникали скрытые переключки и ассоциативные связи, которые улавливаются только в рабочей тетради, где соответствующие записи образуют сплошной и в этом отношении как бы единый, хотя и разнородный массив, в то время как в собраниях сочинений, где произведения разведены по разным томам и черновики представлены в разделах «Другие редакции и варианты», ухо-

<sup>6</sup> Сидяков Л. С. «Евгений Онегин» и «Арап Петра Великого» // Проблемы пушкиноведения: Сб. науч. тр. Рига, 1983. С. 16; Дебрецени Л. Указ. соч. С. 36–42.

дя к тому же в большой своей части в подстрочные примечания, соединительные нити разрываются и след их теряется.

Вопрос о существовании точек соприкосновения между пушкинским историческим романом в прозе и его же «романом в стихах» не мог, разумеется, пройти мимо внимания исследователей. В «Арапе Петра Великого» Л. С. Сидяков находит инерцию принципов стихотворного повествования (или непреодоленные навыки организации стихотворного текста), проявляющиеся, в частности, в существенной роли «субъективно-авторской экспрессии», говоря словами В. В. Виноградова.<sup>7</sup> Соотносимы, по мнению Л. С. Сидякова, изображение «лучшего парижского общества» в двух первых главах «Арапа Петра Великого» и картины «большого света» в «Евгении Онегине». Можно, полагает он, говорить «о перенесении в исторический роман тех способов обрисовки героев, которые сложились в „Евгении Онегине“», а равным образом и о том, что «бытовые сцены исторического романа оказываются следствием тех изменений, которые определили эволюцию „Евгения Онегина“ в его „деревенских“ главах».<sup>8</sup> Подкрепляемые интересными примерами, эти наблюдения решают поставленную проблему на уровне обобщенных закономерностей и тенденций развития пушкинской прозы. Характерно, что, приведя любопытное и выразительное сопоставление описаний начала званого обеда в доме Лариных («Евгений Онегин», гл. V, строфа XXIX; Акад. VI, 110) и у боярина Ржевского («Арап Петра Великого», гл. IV; Акад. VIII, 20), исследователь резюмирует: «И здесь дело, конечно, не в конкретных соответствиях, но в самом методе описания и его художественной функции: как и в „Евгении Онегине“, оно и в „Арапе Петра Великого“ служит воссозданию характерных черт быта, соотносимого с основным сюжетным действием и характерами главных героев романа».<sup>9</sup> Тетрадь открывает именно конкретные соответствия,

<sup>7</sup> Виноградов В. В. О языке художественной литературы. М., 1959. С. 589–590.

<sup>8</sup> Сидяков Л. С. «Евгений Онегин» и «Арап Петра Великого». С. 16 — 25 (приведенные цитаты на с. 20, 21).

<sup>9</sup> Там же. С. 22.

а через них обнаруживается некоторый параллелизм развития текстов романа прозаического и седьмой главы «романа в стихах». В свою очередь эта особенность творческой истории «Арапа Петра Великого» побуждает вернуться к высказанной еще в начале века гипотезе С. А. Ауслендера о личных мотивах как одной из причин прекращения работы над «Арапом Петра Великого». Поддержанная и развитая В. Ф. Ходасевичем в главе «Прадед и правнук» его книги «О Пушкине» (1937),<sup>10</sup> затем оспоренная малоубедительно Г. А. Лапкиной,<sup>11</sup> эта гипотеза не была серьезно проанализирована советским литературоведением, а замалчивалась как не заслуживающая внимания, хотя изредка ее отзвуки прорывались в работах серьезных исследователей, например в метком замечании Т. Г. Цявловской, согласно которому «психологическую основу» романа составил «душевный опыт самого Пушкина».<sup>12</sup>

На л. 21 об. завершается эпизод прощания Ибрагима с графиней перед отъездом из Парижа в Россию. Перо пишет последнюю фразу: «Наконец глаза его потемнели, голова закружилась, он едва мог выдти из ком<наты>, и приехав, написал следующее письмо —» (Акад. VIII, 523). В голове Пушкина уже несомненно сложилось и продолжение, пусть не в виде связного мысленного текста, но хотя бы в общих набросках: должно было следовать письмо, исполненное печали и страсти, а затем путешествие героя и его встреча с Петербургом. Однако, не приступая к письму, Пушкин делает отчерк и на время отвлекается от романа. Он возвратится к нему после какого-то перерыва, о чем говорит перенос работы в другую тетрадь (ПД 833, л. 83–82), а в промежутке его мысль какими-то ассоциативными путями вызвала из памяти воспоминание о его собственной встрече с другою российской столицей, Москвою, после долгой разлуки. Оно рождает стихи, лежащие под отчерком, на остававшейся до этого момента чистой нижней по-

<sup>10</sup> Ходасевич В. Ф. Собр. соч.: В 4 т. М., 1997. С. 493–500.

<sup>11</sup> Лапкина Г. А. К истории создания «Арапа Петра Великого» // Пушкин: Исследования и материалы. М.; Л., 1958. Т. 2. С. 306–307.

<sup>12</sup> Цявловская Т. Г. «Храни меня, мой талисман...» // Прометей: Историко-биографический альманах. М., 1974. Т. 10. С. 63.

ловине той же страницы (л. 21 об.) и переходящие на следующий лист (л. 22), где займут всю лицевую сторону. В седьмой главе «Евгения Онегина», план которой, по-видимому, в общих чертах уже созрел,<sup>13</sup> они станут строфами XXXVI, XXXVII и XXXVIII, но пока, естественно, никаких номеров не имеют.

Возьмем в качестве темпоральных координат не объективное, историческое время, к которому приурочено действие рассматриваемых произведений, и не художественное, внутреннее время каждого из них, а творческое время Пушкина. Тогда, коль скоро черновик указанных строф «Евгения Онегина» в третьей масонской тетради (ПД 836, л. 21 об. — 22) и перенесенный в третью же, но «кишиневскую» тетрадь (ПД 833, л. 83–82, между ними вырваны девять листов) черновик второй главы «Арапа Петра Великого», начиная с письма Ибрагима графине, писались один за другим, оба главных персонажа, Ибрагим и Татьяна, *синхронно* въезжают соответственно в Петербург и Москву навстречу своим судьбам. Подобная же творческая *синхронность* обнаруживается и в другом: с выходом Ибрагима из гостиницы графини начинается его разлука с нею — и на той же странице в одном из вариантов стиха 12 строфы XXXVI появляется, как личное воспоминание о ссылке, мотив «с милыми в разлуке» (ПД 836, л. 21 об.; Акад. VI, 449, сн. 13в). Здесь он не получит развития, эти слова будут вычеркнуты; но найдут соответствие сначала в письме Ибрагима к возлюбленной («Я еду, [мой милый друг] милая Леоно-

<sup>13</sup> Р. В. Иезуитова (Указ. соч. С. 144) выделяет два этапа работы Пушкина над седьмой главой, считая первым «написание предварительного плана этой главы на отдельном листке — ПД, № 102», а началом второго запись на л. 20 наброска к строфе VI. Вывод о «предварительном» плане противоречит тому бесспорному факту, что листок заполнялся в основной своей части 9 — 10 ноября 1828 года (см.: Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском Доме: Науч. описание / Сост. Л. Б. Модзалевский и Б. В. Томашевский. М.; Л., 1937. С. 43), а план *приписан* на свободном месте на полях автографа «Анчара» (см. фототипическое воспроизведение: Лит. наследство. 1934. Т. 16/18. С. 871) и относится только к окончанию главы (после строфы XXIX; см.: Акад. XVII, 47). Вместе с тем вполне вероятно, что к приезду в Михайловское летом 1827 года общий план главы уже оформился и, начиная писать строфы, о которых идет речь, Пушкин знал, какое приблизительно место в ней они займут.

ра, оставляю тебя навсегда» — ПД 833, л. 83; Акад. VIII, 523), потом во фразе, повествующей об отходе Ибрагима ко сну в первый вечер его пребывания в Петербурге («Он заснул в сем расположении духа — и тогда милый образ Графи<ни> D—» — ПД 833, л. 82 об.; Акад. VIII, 524), затем в начале третьей главы, где описывается времяпровождение Ибрагима («...старался как можно менее сожалеть об увеселениях парижской жизни. Труднее было ему удалить от себя другое, милое воспоминание: часто думал он о графине D. ...» — Акад. VIII, 13).<sup>14</sup> Наконец в непосредственном соседстве с находившимся на вырванных листах третьей масонской тетради (два между л. 22 и 23, один между л. 23 и 24) описанием душевного состояния Ибрагима, получившего через Корсакова письмо от графини и узнавшего о том, как быстро она его забыла, был написан 10 августа черновик трех строф для шестой главы «Евгения Онегина». В них тоже, как говорилось выше, звучал мотив расставания навек:

Так, полдень мой настал — ах нужно  
Мне в том утешиться [друзья]  
[Но] так и быть: простимся дружно,  
О юность милая моя —  
<.....>  
Благодарю тебя: тобою  
Среди тревог и в тишине  
Я наслаждался.... и вполне —  
Довольно! ныне всей душою  
Благословляю новый путь —  
Туда где мечу <?> отдохнуть

(ПД 836, л. 23 об.;  
Акад. VI, 410)

Ассоциативная связь между собственными воспоминаниями поэта о разлуке с Москвой, как они оформлялись через последовательные варианты в черновике строфы XXXVI, и мысленными возвращениями Ибрагима к дорогому ему образу

<sup>14</sup> Соответствующий лист черновика в тетради ПД 836 был Пушкиным вырван и уничтожен.

Леоноры подтверждается еще одним, разительным соответствием. Среди нереализованных мотивов стихотворного текста были приписанные на полях пометки:

[Итак] предчувствие<sup>15</sup> сбылось

и  
[Москва] < > [сбылось]

(ПД 836, л. 21 об.;  
Акад. VI, 449, сн. 12)

Незачеркнутые слова перейдут в текст черновика «Арапа Петра Великого», когда при доработке фрагмента о переживаниях Ибрагима, вызванных изменой графини, между строк будет приписана вставка: «и так все [кончено] [сбылось] конечно, думал он сбылось предчувствие <?>» (ПД 836, л. 25; Акад. VIII, 527).

Далее черновик (гл. IV — VI) дошел до нас лишь разрозненными фрагментами, потому что после перебеливания Пушкин вырвал и уничтожил 20 листов (между нынешними л. 27 и 28), на которых записи относились только к «Арапу Петра Великого». Все листы с другими записями он сохранил, благодаря чему видно, что при дальнейшей работе над романом никаких его интертекстуальных связей в тетради ПД 836 не возникло.<sup>16</sup> Однако ассоциативная корреляция между произведениями, над которыми работа велась почти параллельно: «Арапом Петра Великого» и «московскими» строфами седьмой главы «Евгения Онегина» — возникает, кажется, еще раз.

Черновик «Арапа Петра Великого» обрывается на последних фразах шестой главы: «Нат.<аша> не отвечала ни слова. Гнев Отца сильно действовал на ее воображение — Она чувствовала себя не в силах ему противиться.<.> Одна надежда оставалась ей; умереть прежде совершения ненавистного брака — Эта мысль ее утешила — и с этой мыслью<?> она слабой

печальной душой покорилась своему жребию. Но молодость восторжествовала над телесной и душевной болезнью.<.> [Н<аталья> Гав<риловна> не умерла] и совершенно выздоровела» (ПД 836, л. 28 об.; Акад. VIII, 531). Дальнейшее развитие сюжета известно из дневниковой записи А. Н. Вульфа, посетившего Пушкина 15 сентября и слышавшего от него объяснение по этому поводу: «Главная завязка этого романа будет — как Пушкин говорит — неверность жены сего арапа, которая родила ему белого ребенка и за то была посажена в монастырь. Вот историческая основа этого сочинения».<sup>17</sup> Шесть глав черновика в третьей масонской тетради, равно как и перебеленный их текст в альбоме ПД 837 содержали только экспозицию и резко обрывались на одной и той же фразе,<sup>18</sup> подойдя вплотную к начальному моменту развития сюжета. Позднее (хотя неясно когда) было набросано на отдельном листке (ПД 251; Акад. VIII, 531–533) и не полностью перебелено в альбоме (ПД 837, л. 44; Акад. VIII, 33) начало седьмой главы, где появляется Валериан — молодой человек, которому, вероятнее всего, и суждено разрушить семейную жизнь Ибрагима и привести ее к трагедии.<sup>19</sup> В конце декабря 1827-го или начале января 1828-го, а затем в первой половине марта 1828 года Пушкин читал написанное знакомым и друзьям, которые, судя по письмам П. А. Вяземского жене от 13 марта и А. И. Тургеневу от 18 апреля,<sup>20</sup> советовали ему продолжать роман. Однако действенным стимулом этот благожелательный вердикт не послужил.

<sup>17</sup> А. С. Пушкин в воспоминаниях современников / Сост. и примеч. В. Э. Вацуру и др. М., 1985. Т. 1. С. 450.

<sup>18</sup> Последняя фраза белого автографа: «Слабой и печальной душой покорилась она своему жребию» (ПД 837, л. 43 об.; Акад. VIII, 32).

<sup>19</sup> По мнению В. Б. Шкловского, отцом белого ребенка предполагался петиметр Корсаков. Эта гипотеза основывалась на соображениях романной техники: в существующих главах нет другого подробно описанного привлекательного молодого человека (Шкловский В. Б. Заметки о прозе Пушкина. М., 1937. С. 35). Однако здесь не учтено, что роман не вышел за рамки экспозиции, где такой герой мог еще отсутствовать.

<sup>20</sup> Лит. наследство. 1952. Т. 58. С. 75; Переписка Александра Ивановича Тургенева с кн. Петром Андреевичем Вяземским / Под ред. и с прим. Н. К. Кульмана. Пг., 1921. Т. 1. 1814–1833 годы. С. 65 (Архив братьев Тургеневых. Вып. 6).

<sup>15</sup> Чтение Б. В. Томашевского: предчувствия (Акад. VI, 449, сн. 12а).

<sup>16</sup> Отдельно может быть поставлен и рассматриваться вопрос о тематических перекличках с третьей кишиневской тетрадью, где приблизительно в это же время записываются будущие «Отрывки из писем, мысли и замечания».

Здесь нет необходимости рассматривать многочисленные гипотетические соображения, предлагавшиеся в ответ на вопрос, почему не был закончен «Арап Петра Великого». <sup>21</sup> Из всего комплекса обстоятельств, имеющих бесспорное или предположительное отношение к незавершенности романа, существенно в анализируемом аспекте то, что работа над ним прекратилась как бы внезапно, была в некотором роде обрублена. Действительно, ни в третьей масонской тетради, ни где-либо в другом месте нет ни единого следа каких-либо раздумий Пушкина о продолжении и никаких его наметок: ни планов, ни набросков (кроме начала седьмой главы), ни даже мелких заготовок каких-нибудь фраз, реплик, характеристик и т. п. Создается впечатление, что, ставя точку в шестой главе, Пушкин знал уже почти твердо, что далее не двинется, позже на мгновение заколебался, но быстро вернулся к своему прежнему решению и в нем утвердился. Во всяком случае, картина, представляемая рабочими тетрадями, если не опровергает, то ставит под сильное сомнение вывод, согласно которому к моменту публичной читки романа весной 1828 года Пушкин еще «не утратил интереса к своему труду» и «лишь в октябре 1828 года <...> отказался от своего замысла». <sup>22</sup>

На смену черновому тексту «Арапа Петра Великого» в тетради ПД 836 приходят наброски, составившие позднее «Отрывки из писем, мысли и замечания». Они перемежаются с черновиками новых строф седьмой главы, в которых речь идет о визитах к московской родне и выездах в общество. «Арап Петра Великого» закончился на л. 28 об., а на л. 29 об. записывается

<sup>21</sup> Ни одна из существующих гипотез не может быть признана исчерпывающей и не исключает других. Истинный ответ, который, по мнению авторитетных исследователей (Г. А. Лапкиной, Л. С. Сидякова), никогда не будет найден, сложился бы, наверное, из нескольких, может быть даже многих, частных объяснений. Обзор важнейших точек зрения и более поздние дополнения к ним см.: Лапкина Г. А. К истории создания «Арапа Петра Великого». С. 306–309; Сидяков Л. С. Художественная проза А. С. Пушкина. С. 42–44; Абрамович С. Л. К вопросу о становлении повествовательной прозы Пушкина: (Почему остался незавершенным «Арап Петра Великого») // Русская литература. 1974. № 2. С. 54–73; Дебрецени П. Указ. соч. С. 42 — 50.

<sup>22</sup> Абрамович С. Л. Указ. соч. С. 56.

строфа XLIV («По теткам бабушкам и дедам / По званым родственным обедам / Развозят каждый божий день...» — Акад. VI, 455–456) и начинается строфа XLVI («Ее жеманные кухни / Младые Грации Москвы / Сначала <?> [в] тайне примечают / Татьяну с ног до головы...» — Акад. VI, 456–457); она кончается на л. 30 об., и тут же пишется строфа XLIX («Архивны юноши толпою / На Таню издали глядят...» — Акад. VI, 457–458). Идут активные смотрины, и судьба Тани решена: ей уготовано замужество с человеком, которого она не любит, а тот, кому отдано ее сердце (на л. 31 появляется строфа XLVII, кончающаяся в черновике словами: «Но Т<аня> точно как во сне / Их речи слышит без участия / Не понимая ничего / А тайну сердца своего / Залог и горестей и счастья / Хранит печально между тем / И им не делится ни с кем» — Акад. VI, 457), находится от нее далеко, неведомо где (еще раньше на л. 29 написан первый вариант строфы «И так я жил тогда в Одессе...», предвещающий появление в этом городе путешествующего Онегина, — Акад. VI, 491; ср. следующий вариант, там же, с. 504). Так же питает тайную любовь и Наташа Ржевская, давно не имея никаких известий о своем избраннике. Их встреча предопределена сюжетом; встретятся и Онегин с Татьяной, и, только еще приступая к седьмой главе, Пушкин, без сомнения, уже знал, что это произойдет в восьмой.

Таким образом, в координатах творческого времени героини Пушкина *синхронно* оказываются в одинаковой сюжетной ситуации. В «Арапе Петра Великого» следствия заключаемого брака Пушкину были известны, и он отказался разрабатывать эту линию; но как поведет себя Татьяна, он, если верить записанному Д. П. Маковицким свидетельству Е. Н. Мещерской в передаче Л. Н. Толстого, <sup>23</sup> до последнего момента не знал, и ее отказ Онегину был для него своего рода неожиданностью. Можно, кажется, предположить с большой уверенностью, что эта неожиданность была для него приятной и многообещающей: он нашел образец супружества, основанного не

<sup>23</sup> «Дочь Карамзина рассказывала мне, что она слышала от Пушкина. „Моя Татьяна поразила меня, она отказала Онегину. Я этого совсем не ожидал”» (Лит. наследство 1979. Т. 90. Кн. 1. С. 143)



на любви, но на взаимном уважении и верности; для него этот пример имел, должно быть, огромный личный интерес.

Восьмая глава была закончена и переписана 25 сентября 1830 года в Болдине (Акад. VI, 661), а 5 апреля Пушкин писал будущей своей теще Н. И. Гончаровой: «Только привычка и длительная близость могли бы помочь мне заслужить расположение вашей дочери; я могу надеяться возбудить со временем ее привязанность, но ничем не могу ей понравиться; если она согласится отдать мне свою руку, я увижу в этом лишь доказательство спокойного безразличия ее сердца» (Акад. XIV, 76, 404, подлинник по-французски). Здесь изложены те самые основания семейной жизни, на которых покоится супружество Татьяны, а до нее предполагал строить свое Ибрагим, прекрасно знавший, что невеста его не любит: «От жены я не стану требовать любви, буду довольствоваться ее верностью, а дружбу приобрету постоянной нежностью, доверенностью и снисхождением» (Акад. VIII, 27). Однако в «Арапе Петра Великого», привязанном по авторскому замыслу к биографии А. П. Ганнибала, задуманная на этих основах семейная идиллия не могла состояться, хотя развитие событий, без сомнения, отличалось бы существенно от исторической реальности. «Доверенность», которую Ибрагим намеревался возвести в один из главных принципов своих отношений с женою, закладывала, вероятно, дальнейшую эволюцию фабулы к ревности. По всей видимости, уже в замысле «Арапа Петра Великого» в какой-то первичной формулировке присутствовала высказанная позднее отточенно, а сложившаяся, очевидно, еще в Михайловской ссылке под влиянием предисловия Ф. Гизо к французскому переводу «Отелло» мысль: «Отелло от природы не ревнив, напротив: он доверчив» (Акад. XII, 157).<sup>24</sup> Как, наверное, задумывалось, подозрения об отношениях между Наташей и Валерианом (какими бы ни были они на самом деле) должны были подорвать главную опору семейного спокойствия, а начальной питательной средой для них могло служить предостережение Корсакова: «Нельзя надеяться на женскую верность;

<sup>24</sup> См.: выше заметку «Пушкин и французский перевод «Отелло»», с. 273–274.

счастлив, кто смотрит на это равнодушно! но ты!.. — с твоим ли пылким, задумчивым и подозрительным характером, с твоим сплюснутым носом, вздутыми губами, с этой шершавой шерстью бросаться во все опасности женитьбы?...» (Акад. VIII, 30). Те черты Ибрагима, о которых говорит шеголь, Пушкин знал и за собою, видя в них препятствие к своему семейному счастью. Об этом он писал 1 декабря 1826 года В. П. Зубкову в связи с намерением жениться на своей дальней родственнице С. Ф. Пушкиной, к которой в то время питал сильное чувство: «Мне 27 лет, дорогой друг. Пора жить, т. е. познать счастье. Ты говоришь мне, что оно не может быть вечным: хороша новость! Не личное мое счастье заботит меня, могу ли я возле нее не быть счастливейшим из людей, — но я содрогаюсь при мысли о судьбе, которая, быть может, ее ожидает — содрогаюсь при мысли, что не смогу сделать ее столь счастливой, как мне хотелось бы. Жизнь моя, доселе такая кочующая, такая бурная, характер мой — неровный, ревнивый, подозрительный, резкий и слабый одновременно — вот что иногда наводит на меня тягостные раздумья. — Следует ли мне связать с судьбой столь печальной, с таким несчастным характером — судьбу существа, такого нежного, такого прекрасного?...» (Акад. XIII, 311, 562, подлинник по-французски). Не только цитированным выше предостережением Корсакова отозвались в «Арапе Петра Великого» эти сомнения Пушкина, но и в письме Ибрагима Леоноре: «Зачем силиться соединить судьбу столь нежного, столь прекрасного создания с бедственной судьбою негра, жалкого творения, едва удостоенного названия человека?» (Акад. VIII, 9). Раздумья же Ибрагима: «Мне нельзя надеяться быть любимым: детское возражение! разве можно верить любви? разве существует она в женском легкомысленном сердце?» (Акад. VIII, 27) — это не что иное, как еще один ответ на увещевания В. П. Зубкова, а слова «детское возражение» синонимичны фразе «хороша новость».

Если к этим выразительным параллелям, тонко подмеченным В. Ф. Ходасевичем, добавить: знаменитый шаржированный автопортрет (по другой атрибуции — портрет А. П. Ганнибала) в образе арапа-обезьяны, нарисованный в третьей масонской тетради (л. 22 об.) как раз перед тем, как черновик

подошел к возвращению из Парижа Корсакова с вестями о быстром утешении графини;<sup>25</sup> свидетельство С. Н. Карамзиной, согласно которому «многие черты характера и даже его (Ибрагима. — В. Р.) наружности скалькированы с самого Пушкина»;<sup>26</sup> наконец, установленное Т. Г. Цявловской отражение в одном вычеркнутом пассаже белого автографа<sup>27</sup> привычки Пушкина, уйдя от понравившейся ему женщины, «долго <...> быть мысленно с нею»,<sup>28</sup> — то станет очевидна правота С. А. Ауслендера, полагавшего, что «роман „Арап Петра Великого” связан самым тесным образом с личной жизнью Пушкина, что многое написанное о далеком прадеде как-то очень близко касалось правнука».<sup>29</sup>

Между письмом В. П. Зубкову от 1 декабря 1826 года и письмом Н. И. Гончаровой от 5 апреля 1830 года Пушкин проделал эволюцию от бурного взрыва чувств и сомнений в своей способности дать счастье жене до надежды на привычку, возникающую при длительной спокойной близости супругов («...Я женюсь без упоения, без ребяческого очарования», — писал он 10 февраля 1831 года, за неделю до свадьбы, Н. И. Кривцову — Акад. XIV, 151); подобный же путь от еще более глубокой убежденности в том, что перед ним навсегда захлопнуты ворота семейного счастья, до упования на супружескую дружбу, проистекающую из «нежности, доверенности и снисхожденности», проходит Ибрагим — от письма к Леоноре во второй

<sup>25</sup> Об этом рисунке см.: Жуйкова Р. Г. Портретные рисунки Пушкина: Каталог атрибуций. СПб., 1996. С. 56. № 61; С. 133. № 272.

<sup>26</sup> Пушкин в письмах Карамзиных 1836–1837 годов. М.; Л., 1960. С. 202.

<sup>27</sup> «Целый день он думал о гр. <афине> Д., следовал сердцем за нею, казалось, был свидетелем каждого ее движения, каждой ее мысли; в часы, когда он обыкновенно с нею видался, он мысленно собирался к ней, входил в ее комнату, садился подле нее, разговаривал с нею — и мечтание постепенно становилось так сильно, так ошутительно, что он совершенно забывался» (Акад. VIII, 506).

<sup>28</sup> См.: [Бартенев П. И.]. Из рассказов князя Петра Андреевича и княгини Веры Федоровны Вяземских (записано в разное время с позволения обоих) // Русский архив. 1888. № 7. С. 312 (перепечатано: Бартенев П. И. О Пушкине. М., 1992. С. 387); Цявловская Т. Г. Указ. соч. С. 61.

<sup>29</sup> Ауслендер С. «Арап Петра Великого» // Пушкин А. С. [Собр. соч.] / Под ред. С. А. Венгерова. СПб., 1910. Т. 4. С. 109–110.

главе до размышлений о женитьбе в пятой. В этом ракурсе Ибрагим — это Пушкин 1827 года, остро переживший и осмысляющий отказ С. Ф. Пушкиной. Не потому ли Пушкин оставил свой исторический роман на поворотном моменте, что, зная, к чему приведет семейная политика, которой намеревался следовать Ибрагим, боялся проецировать ее на свое личное будущее и не захотел развивать сюжет? Если на самом деле он «сближал себя с Арапом зеркально»<sup>30</sup> и ощущал «сопряжение судеб»,<sup>31</sup> то это более чем вероятно, хотя, разумеется, могло быть лишь одной из причин. Не предпочел ли он развивать ту же тему в другом произведении, где сложилась равнозначная сюжетная ситуация, но ее развязка ничем не была предопределена и потому его обнадеживала? Не потому ли Татьяна отказала Онегину, что именно этого ожидал от нее Пушкин и это было ему психологически необходимо? «Пушкин создал ее и создал ее такой, что она не могла поступить иначе»,<sup>32</sup> — этим пронизательным замечанием Л. Н. Толстого кончается запись его воспоминания о разговоре Пушкина с Е. Н. Мещерской. Не открывал ли отказ Татьяны путь к женитьбе самому Пушкину?<sup>33</sup>

<sup>30</sup> Фейнберг И. Л. Абрам Петрович Ганнибал, прадед Пушкина: Разыскания и материалы. 2-е изд. М., 1986. С. 35.

<sup>31</sup> Эйдельман Н. Я. Пушкин: История и современность в художественном сознании поэта. М., 1984. С. 333.

<sup>32</sup> Лит. наследство. 1979. Т. 90. Кн. 1. С. 143. Ср. мнение В. К. Кюхельбекера, записанное в дневнике 17 февраля 1832 года: «Поэт в своей 8 главе похож сам на Татьяну: для лицейского его товарища, для человека, который с ним вырос и его знает наизусть, как я, везде заметно чувство, коим Пушкин переполнен, хотя он, подобно своей Татьяне, и не хочет, чтоб об этом чувстве знал свет» (Кюхельбекер В. К. Путешествие; Дневник; Статьи / Изд. подгот. [М. Г. Альтшуллер], Н. В. Королева, В. Д. Рак. Л., 1979. С. 99 — 100).

<sup>33</sup> Любопытно, что к сходным выводам, но с другой позиции, которую автор данной статьи не разделяет, пришла американская исследовательница К. Эмерсон. Объясняя «истоки влюбленности в Татьяну <...> Пушкина как автора», она пишет: «1820-е годы отмечены растущей склонностью Пушкина к прозе и русской истории, к фамильной генеалогии, стремлением к стабильной семейной жизни и усилением тревоги за свой социальный статус и ранг. Само собой разумеется, что для зрелого Пушкина особенно притягательны и образ замужней Татьяны-княгини, и холодно-покойные и приподнятые эпитеты в этом возвышенном контексте, которыми он ее наделяет: „покойна”, „вольна”, „равнодушна”, „смела”, „непрístupная богиня роскошной, цар-

Если даже эти предположения неверны и личные мотивы не сыграли никакой роли в прекращении работы над «Арапом Петра Великого», вряд ли Пушкин смог бы в двух параллельных по времени создания произведениях развивать из общей исходной точки, но в разных направлениях одну и ту же коллизию. Следовало бы сделать выбор, и он, конечно, был бы не в пользу «Арапа Петра Великого». Любимым детищем Пушкина был «Евгений Онегин», он пользовался успехом у читателей, ожидавших с нетерпением выхода очередных глав. Напротив, прозаический роман должен был ассоциативно пробуждать тревожные мысли о грядущем увядании венца; он был начат во время творческой заминки и лишь в ожидании мощного поэтического взрыва. Вполне вероятно, что, еще к нему приступая, Пушкин допускал, что этот его первый беллетристический опыт никогда не будет завершен.

---

ственной Невы” и т. п. (Глава восьмая, XX — XXVII). Весьма возможно, что в это время Пушкин, будущий жених, именно поэтому помещает Татьяну в среде высшего общества, — столь высокого, что в нем не может быть места кокетству („его не терпит высший свет”, — Глава восьмая, XXXI). Я говорю о том самом кокетстве, в атмосфере которого поэт не без удовольствия провел свою холостяцкую жизнь. В 1829-м году, ведя переговоры о вступлении в брак с первой красавицей России, он желает убедить самого себя в том, что абсолютно идет вразрез с его прошлым шумным успехом у замужних женщин, т. е. в том, что женская верность в браке возможна» (Эмерсон К. Татьяна // Вестник Тамбовского ун-та. Сер.: Гуманитарные науки. 1996. Вып. 3/4. С. 38).

## «ПОЧТОВАЯ ПРОЗА» ПУШКИНСКОЙ ГЕРОИНИ

В незавершённой повести «Гости съезжались на дачу...», два фрагмента которой Пушкин написал предположительно в августе — октябре 1828 года, мятущаяся светская дама, Зинаида Вольская, чувствуя охлаждение Минского, вступившего с нею в связь лишь для того, чтобы увидеть «лишнюю женщину в списке ветреных своих любовниц» (Акад. VIII, 40), пишет ему письмо. Вольская «упрекала его в холодности, недоверчивости и проч., жаловалась, умоляла, сама не зная о чём; рассыпалась в нежных, ласковых уверениях — и назначала ему вечером свидание в своей ложе» (Акад. VIII, 41). Помимо этого пересказа письма из него цитируются несколько начальных строк. В рукописи они имеют две редакции: написав первоначальный текст, Пушкин внёс в него ряд мелких, но весьма существенных изменений.

Сравним обе редакции, выделив курсивом слова и фразы, подвергшиеся правке, и расставив отсутствующие в черновике знаки препинания:

I. *«Я не успела тебе высказать всё, что имею на сердце; в твоём присутствии я не нахожу мыслей, которые теперь<sup>1</sup> снова меня преследуют — Твои софизмы не убеждают меня, но заставляют молчать; в этом видно твоё обыкновенное превосходство надо мною — но это<sup>2</sup> не довольно для счастья, для спокойствия моего сердца — »* (ПД 838, л. 107).

---

<sup>1</sup> В рукописи после этого слова поставлена запятая

<sup>2</sup> Слово «это» вписано, то есть первоначально отсутствовало, на какой-то стадии позднее оно было заменено на «его», которое тоже вычеркнуто